

ДОЧКИ-МАТЕРИ ИЛИ ВО ЧТО ИГРАЮТ БОЛЬШИЕ ДЕВОЧКИ

Диалог (Время)

Людмила Петрушевская

**Дочки-матери, или Во что
играют большие девочки**

«ВЕБКНИГА»

2021

Петрушевская Л. С.

Дочки-матери, или Во что играют большие девочки /
Л. С. Петрушевская — «ВЕБКНИГА», 2021 — (Диалог (Время))

ISBN 978-5-96-912062-4

Мама любит дочку, дочка – маму. Но почему эта любовь так похожа на военные действия? Почему к дочерней любви часто примешивается раздражение, а материнская любовь, способная на подвиги в форс-мажорных обстоятельствах, бывает невыносима в обычной жизни? Авторы рассказов – известные писатели, художники, психологи – на время утратили свою именитость, заслуги и социальные роли. Здесь они просто дочери и матери. Такие же обиженные, любящие и тоскующие, как все мы.

ISBN 978-5-96-912062-4

© Петрушевская Л. С., 2021
© ВЕБКНИГА, 2021

Содержание

Осторожные муки	6
Людмила Петрушевская. Мать-дочь[1]	6
Евгения Пищикова. История берсерка[2]	10
Екатерина Барабаш. Мы с тобой одной крови[3]	14
Люба Гурова. Искусство разговора[4]	17
Екатерина Корсунская. Где ж девался тот цветочек, что долину украшал[5]	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Дочки-матери, или Во что играют большие девочки

Художественное электронное издание

© Головинская И. Г., составление, 2021

© Оформление, «Время», 2021



Осторожные муки

Людмила Петрушевская. Мать-дочь¹

при Хрущеве
при мамонтах так сказать
книжки не продавались
они по-партийному распределялись, по-свойски
и единственным выходом было
по-польски читать
так некоторые и поступали
например
как позже выяснилось
польскому выучился Бродский

наши братья-поляки тоже жили
в соцлагере
но в самом веселом бараке
у них был театр и кино
и они переводили всё
и для нас светились Беккет и Джойс
по-польски
в полнейшем соцмраке
и для нас тоже вертелось
обозрения высокое колесо

сами-то верхи Лубянки
а также низы-топтуны
это дело прошляпили
так как по-польски не разумели
они за нами таскались в шляпах
в порядке ведения литературной войны
и они нас с этим польским
прямо сказать
прозвиздели

итак польская пресса
добрый десяток лет
свободно поступала
журналы завозились в киоски

¹ Людмила Петрушевская (род. в Москве) – прозаик, поэтесса, драматург, сценарист, переводчик, певица, художник. Автор пьес «Уроки музыки», «Три девушки в голубом», «Квартира Коломбины», «Московский хор», «Чинзано» и мн. др., автор сценариев мультфильмов «Сказка сказок», «Кот, который умел петь», «Поросенок Петр» и др., автор многих книг прозы для взрослых и детей. Лауреат российских и международных литературных премий. В последние годы продает свои акварели в пользу приюта для подростков-инвалидов «Росток» (г. Порхов).

я сбегала на филфак
и у полонистов списала
как читаются
звуки це-зет и эс-зет
и это знаменитое щч
по-польски

и на этой абракадабре
я по-польски прочла
продираясь сквозь эр-зет и носовые звуки
сценарий Бергмана
«Осенняя соната»
про такие дела
что мать и дочь
причиняют друг дружке
вежливые и осторожные
муки

я сочла что это неправда
такая далековатость и холодность
как было у Бергмана
такие дочь и мать
я тогда была просто дочь
у меня протекала бурная молодость
а у моей мамы поздняя зрелость
и что Бергман в этом
вообще мог понимать

потом я оставаясь дочерью
стала мамой
(которая мыла раму)
с точки зрения моей матери
я это делала спустя рукава
куда там было бергмановской «Осенней сонате»
моя мама
старалась это дело поправить
толкуя при детях
насколько ее дочь-мать не права

я думала об «Осенней сонате»
об этих просторах дождях и лужах
о холодных красавицах Ульман и Бергман
об этой проблеме дочь и мать
мы тоже были с мамой
девушки никого не хуже
но все было как говорится на нервах
и прохладными
нас было не называть

затем меня пригласили в Швецию
писать пьесы
для бергмановского театра
стокгольмского
совпадение если можно это так назвать
театр дал мне квартиру
машинку
переводчицу как у Тарковского
Лейлу Александер
и я начала работать
и я решила правду сказать

я пьеску написала
в честь «Осенней сонаты»
в честь проблемы проблем
в пику Бергману на самом деле
у меня выросла двойная женщина
создание странноватое
двухголовый урод Бифем
мать и дочь
оказавшиеся в одном теле

там была фантастика даже не выговорить
но и тут был Бергман
был его театр Стокгольм и я
жизнь играла со мной
в какие-то странные игры
где-то там в Москве
жила моя бедная советская семья
а на соседней улице
обреталась богиня Астрид Линдгрен

я написала
три пьески за десять дней
они не были поставлены
ВААП наша театральная Лубянка
пронюхала и встряла
мы не имели права
ставиться абы где
но и на родине
мы ни на что не имели права

много лет спустя
один из моих детей
вспомнил про пьесу «Бифем»
они у меня со стола читали
и он велел мне
этот текст ему дать прочесть
он хотел режиссера найти

короче
ко мне даже курьера
за пьесой прислали

перед этим
я работала сутки
наяву и во сне
я давно не пахала так
чтобы с утра до рассвета
моя мама уже умерла
но не во мне, не во мне
и я гимн сочиняла
о любви материнской
что не знает ответа

в честь любви простодушной
отчаянной и слепой
в честь руки протянутой
губ протянутых
старых увядших
я не плакала
но мама была со мной
я сама была уже мамой
из того же племени падших

спасибо ребенку Феде
он тогда режиссера мне не нашел
спасибо за текст
я его теперь театру оставлю
ребенок сам поставил «Бифем»
все дороги прошел
он сказал мне в детстве
никто тебя не знает как ставить
я поставлю

Евгения Пищикова. История берсерка²

Вообще, я хотела сына.

Можно ли придумать более тривиальное начало для текста о дочери? Я даже уверена, что если собирается целая книжка из материнско-дочерних историй – вернее, если бы она собиралась среди менее элегантных авторов, – то уж два-три рассказа точно начинались бы с этого игривого противопоставления. Есть такие банальности, которые людям начинающим (или среднеумным) кажутся вызовом, огнем и порохом, – так, на всяких литературных экзаменах процентов семьдесят юношеских текстов начинается со сцены благовеста будильника и отчаянного утреннего похмелья, хотя, воля ваша, трудно сообразить, что в этом может быть оригинального.

Но – так и было, я мечтала о сыне.

На дворе стояло лето 1996 года, жаркое, странное, долгое лето, и под окнами родильного дома ездили желтые машины радиооповещения, еще советские, с крутящимися решетчатыми антеннами; приглашали поспешить на избирательный участок, рвали полуденное марево хриплыми призывами сделать правильный выбор. На ярком свету было видно, что машины не первого года службы, облупленные, в потеках краски. Где служили, что делали, кого пугали? Они казались приехавшими из фантастического мира, параллельной реальности, но именно от своей потрепанности – так застряло в памяти – нестрашными. Уже тогда все советское и облупленное становилось символом нестрашного, меняя в безвоздушном пространстве памяти свою лютую природу на противоположную, добродушную.

Нестрашным казалось всякое государственное заброшенное зло, зло неухоженное, за которым плохо смотрят, которое делают без огонька. Настоящее государственное зло – так виделось тогда – должно быть методичным, дорогостоящим и подтянутым, как подтянуты бывают войска.

А главный страх ведь в том году был перед злом негосударственным, самодельным – перед толпой, перед обиженными, непонявшими. Из рупоров машин неслись призывы идти на выборы («а бабушку запри дома»). В дни моего предродового ожидания как раз проходил второй тур знаменитого противостояния Ельцин – Зюганов – венец тех единственных реально прошедших в России выборов, первых и последних, которые завершились обманом. Победил-то страх, самодельная толпа, бабушка – ну, если по циферкам.

Тогда все началось и все кончилось. Лето рождения моей дочери и лето смерти нашей нелепой младенческой демократии, которую заспали в колыбели, совпали. Издалека кажется: как же можно сравнивать столь несопоставимые вещи – рождение живого, бесконечно важного и бытование искусственного, общественного, надстроенного. Между тем кто из нас не знает, как бодро искусственное и надстроенное умеет убивать живое.

А в то лето я, уложенная на сохранение, была готова не только к родовым, но и к общественным схваткам.

Роддома в принципе обладают способностью к сохранению сущностей. Больницы и роддома – современные замки с привидениями. В квартирах больше не рожают и не умирают, из всего неповседневного в наших домах остались только оргазм и молитва, младшие братья рождения и смерти. Так что, возможно, в легких слоях родильного дома на Соколиной Горе, там, где теснятся фантомы безумия и идиотизма, до сих пор мотыляется толстая роженица в

² Евгения Пищикова – журналист, эссеист. Родилась в Смоленске. Окончила факультет журналистики МПИ. Работала в изданиях «Общая газета», «Русский телеграф», «Большой город», «Известия», «Московские новости», «Русская жизнь», «Крокодил», «Новый очевидец», «Новая газета», «Горький». Сотрудничала с Colta.ru. Автор книги «Пятиэтажная Россия».

малиновом халате, банши из башни из слоновой злости, которая бежит по воздушным этажам с воплями: «Сестры, только не за Зюганова!»

Ну что ж, за что боролись, на то и напоролись. Думаю, безумие моего родового лета как-то срифмовалось со всем дальнейшим. В тот раз меня чуть не силой оттащили в родзал от гробового избирательного ящика. Честное слово, больше я такой общественной прыти не проявляла, очевидно, тут был гормональный конфликт, рождающий ощущение бешеной незащищенности. Но вообще столкновение природного и социального, истинного и мнимого, главного и подставного – это мое.

Родила я, конечно, девочку. Память у меня оказалась здоровая, крепкая, спасительная – то есть я почти ничего и не помню. Помню, как лежала и смотрела на круглые настенные часы над дверью – вот типа, старуха, час и минута рождения твоего ребенка. А что на часах было, вспомнить не могу. Зато лицо ребенка помню хорошо. Дочь моя при рождении имела самое то выражение горького разочарования, которое иной раз явственно видно у новорожденных. Клянусь, мимическая картина ее лица складывалась в сообщение примерно такого типа: «Нет, блин, вы серьезно?»

Моя мама – жила она тогда в городе Нью-Йорке – прислала мне письмо. «Дорогая девочка, теперь я спокойна за тебя. Я счастлива, что теперь у тебя наконец есть Своя Дочь».

Своя дочь. В этой конструкции звенит все то, чем так умело оперируют сейчас юнцы и юницы в качестве обвинения, – присвоение, объективизация, запрет на раннюю сепарацию или на сепарацию вообще. Да-да. Бу-бу. Бойтесь, сопляки.

Все это правда. Я мечтала о мальчике оттого, что в моей семье из поколения в поколение передавалась традиция чрезвычайной связи матери и дочери. В определенном смысле у нас многопоколенческая семья симбиотов.

Это не семьи матрешек, состоящие из трех звеньев «бабушка – мать – дочь», живущие и развивающиеся без мужчин. Матрешечные семьи – социальные, вынужденные симбиоты. О, у нас не так.

Мужчины в наших семьях были всегда, потому что мужчины (ну, как и девушки, тут вечная игра в недоступное) реально любят страдать, страдание – род творчества и так далее. Они всегда приходят к тем женщинам, которым они не очень-то и нужны. Женщинам же нашей семьи нужны были только дочери.

Я могу описать вам все способы взаимосвязи между матерями и дочерьми, которые были осуществлены в нашей семье, – да интересно ли вам будет? Должна разве что сказать, что тут далеко не только подавление, использование зависимого во имя комфортной старости или жгучие игры победительной тещиной ревности. Там были примеры жертвенности высокого ряда.

Матери отдавали и умирали. Матери поднимали дочерей. Совместные диссертации и достижения, коллективный разум, создание симбиотического творческого союза, совместное интеллектуальное и волевое усилие – это тоже все в списке случившегося. Я бы сказала, в нашей семье произошла даже совсем замечательная история, когда в короткие временные периоды (мать между своими сорока и шестьюдесятью, дочь между двадцатью и сорока) наши симбиоты являли собой мощные двухуровневые биомшины, в рамках которых матери получали возможность прожить вторую молодость и довоплотить творческие амбиции, а дочери имели за спиной силу второго разума, – и карьерные и научные результаты обеих были впечатляющими.

Но были и такие, знаете, эротико-биологические провалы. Когда дочери-симбиотки срывались с крючка и посреди восхождения на эвристический Монблан убегали в любовь, выбирая, так сказать, другой род слияния.

Или – это считалось самым болезненным – рано рожали Своих Дочерей и создавали связь с ними, делая матерей-симбиотов сиротами. Потому что тройственный союз не работал.

В общем, вы поняли. Все непросто. Я не хотела быть симбиотом. Не могу сказать, что из новомодных соображений априорной отделенности ребенка от матери. Скорее, из эгоцентрических соображений отделенности матери от ребенка.

Но что толку об этом говорить? Я думала, что традиции семьи никак не могут подействовать на человека, не приемлющего традиции.

Я смотрела на лицо рожденного мною младенца и упивалась двойной радостью. Младенец радовал меня своим циническим недоумением и сильно мне нравился. Но этак покровительственно. Типа твое время пришло, щенок, не тушуйся.

Но – бинго – никакого всеобъемлющего счастья я не испытывала. А ведь миг экстатического счастья на родильном столе, когда роженица чувствует себя центром вселенной, вокруг нее и тьма и свет, и тоннели, и завихрения, и косая чечевица галактики висит над столом, – это норма у нас в семье, обязательный пункт программы.

Обошлась без нормы, приехала домой, ликуя, через три месяца поняла, что испытываю к ребенку род не любви, а бешеной звериной зависимости. Если что-то болело у нее, это же болело у меня, и все в таком роде.

Это был эпический провал. Когда дочери было три года, она в магазине зашла за стойку с одеждой и вроде как пропала, и на крики не отозвалась, меня остановили с помощью охраны: я положила целый одежный ряд. Тетя-берсерк.

Дети нынче *прошаренные*, их боги – гормоны и границы, и моя дочь уже много лет оскорблена моей неправильной любовью.

Это мы росли в романтическом представлении, что любовью оскорбить нельзя, – еще как можно. Только ею и можно. Оскорбляет ведь только тот, кто важен, так ведь?

Я думаю о своей семье – что такое традиция? Моя излишняя привязанность и удушающий страх (и да, своим страхом за дитя я уничтожила коммуникационный потенциал и зачатки самостоятельности в ребенке, это мне объяснили) давно диагностированы как особенность моего патологического гормонального фона, и давно выявлена спровоцированная этим цепочка панических эпизодов. Так что же такое родовая история?

Все женщины семьи имеют определенные гормональные особенности? Мы больны любовью, мы берсерки? Гормональные особенности как вид родового безумия, биохимия, которая строит нашу жизнь? Так насколько же твоя химическая начинка индивидуальна и имеет ли смысл лечиться от истории и судьбы? Я мало, разумеется, знаю о своем роде – два-три поколения в активной памяти, смесь говорящих и молчащих сословий; мужчины вымываются жизнью. Но женское вечно живо.

Я не сумела справиться с семейным заветом – хотя мне казалось, что тайное хлюпающее и биологическое меня не достанет и я выстрою жизнь рационально. Моим рацией были работа и мечта о построении приличного мира. Сейчас этот набор смотрится жалко.

Моей милой дочери как действующему лицу своего поколения главными кажутся знание и договор – и опять же, золоченая и нечистая телесная подкладка мира ей не так интересна. Власть и страсть – близнецы-братья, к Одину их.

Она сидит на полу в комнатенке, которую сняла задешево, – замученная моей любовью. А я нависаю над ней, как дирижабль, как большая надувная розовая свинья над трубами старой фабрики с давнего альбома «Энималз» у «Пинк Флойд», – ты же видишь, я воздушная, я легкая, я тучка, а вовсе не медведь.

Я стараюсь отстать от нее, у меня ничего не получается.

Она поднимает на меня глаза – голубые, чистые, семейные глаза.

Я знаю, чего она хочет. Я не знаю, чего она хочет.

Но я точно уверена, что жизнь ее научит плохому. Ведь когда-нибудь она родит Свою Дочь.

Екатерина Барабаш. Мы с тобой одной крови³

Мам, привет! Как вы там с папой?

...

У меня тоже все супер. Квартирка что надо. Фотки попозже пришлю. Хозяева хорошие – даже залог не взяли.

...

Да ладно тебе – никакой грязи разводить не буду, не начинай. Швабру завтра же куплю...

...

Ага, и занятия тоже завтра начинаются.

...

Мам, ну ты даешь – как я сейчас могу сказать, какую специальность выберу? Пока достаточно, что выбрала медицину – тебе мало? Ну а там видно будет. Рано пока: я еще будильник к первой паре не поставила, а ты – «какую специальность». Ладно, так и быть, скажу: хочу быть проктологом – буду в человеческих душах копать.

...

Ой, да ладно – ну, шутка такая, забей.

...

Мам, ну почему обязательно хирургом? Потому что бабушка и дедушка потомственные хирурги? Сама соскочила, в гуманитарии подалась, а теперь на мне хочешь отыграться? Я, кстати, думаю, что из меня хирург никакой – руки очень неловкие, в тебя.

...

Ну уж извини, чего тут обижаться. Мордой в бабушку вышла, это факт, а вот руки – твои. Я тоже, как гвоздь захочу вбить – считай, полпальца нет.

...

Почему грубо? «Морда» – это ласково, бабушка сама так всегда про свое лицо выражалась. Она, кстати, была единственная, кто меня понимал. Всегда говорила, что когда мне после операции перелили ее кровь – у нас с ней стала одна кровь на двоих.

...

Ну и с тобой одна, получается, куда ж я без тебя. Тебе бы все обижаться. Про нас с бабушкой всегда говорили, что у нас с ней профили одинаковые, а как кровь перелили – вообще как сиамские близнецы стали.

...

Это да – характер не ее. Жаль. И руки кривые – тоже не в нее. Вот, блин, как такое получается: один маленький сперматозоид решает, что тебе взять от родственников, а что сразу выбросить на помойку. Кто ему такое право дал?

...

А кто решает? Опять ты, что ли? Ты у нас всегда все решаешь.

...

Ничего подобного, никакого наезда. Голая констатация. Слушай, а может, генетикой заняться? Дико ведь интересно. Говорят, в психиатрию идут люди, которые подсознательно стремятся с ее помощью решить свои проблемы. Поэтому среди психиатров столько нестабильных. Ну а я тогда решу наконец свои проблемы – может, пойму, в кого я такая неудалая.

³ Екатерина Барабаш – журналист, кинообозреватель. Родилась в Харькове, окончила филологический факультет МГУ по специальности «русский язык как иностранный». Руководила отделами культуры в «Независимой газете» и «Интерфаксе». В настоящее время – обозреватель русской службы французского радио Radio France International (RFI). Специализируется в основном на кинотематике. Член Международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ).

Как это происходит, что там гены вытворяют, как они скачут от родителей к детям, ну и все такое. А главное – можно ли с этим что-то поделать.

...

Знаешь, мне как-то твоего заверения мало. Ты говоришь, нельзя, а вдруг генетика уже так далеко вперед ушла, что придумала, как можно? Я ж для чего-то на медицинский поступила? Так хоть делом займусь. Вот, например, ты когда выходила замуж за папу – неужели не думала, что если у него рост метр девяносто два и у вас родится дочка, то она почти стопроцентно будет дылдой? Вот ты вышла замуж по любви, тебе хорошо, а я со своим метр семьдесят восемь до сих пор парня себе не нашла.

...

А я думаю, что поэтому. Не могу сказать, что шарахаются, но как-то сторонятся. Дефолтом по остаточному принципу – только так кто-то всегда и находится. Или по пьяни.

...

Да не надо ко мне со своими утешениями – я сразу себя начинаю чувствовать совсем убогой. Ну красивая, красивая, ладно, знаю. Хорошо хоть сейчас что к росту, что к возрасту отношение проще, но все равно: кому ж с метром семьдесят четыре захочется с метром семьдесят восемь ходить? Спать еще можно – тут рост не помеха, а выйти в свет – ну как?

...

Да ну какой цинизм, ты чего? Была бы я дочкой миллиардера или какой-нибудь селебрити – тогда еще можно, но я-то не селебрити и денег у меня никогда не будет. Ты-то этим не заморачивалась, когда меня от папы рожала, а я всю жизнь страдай из-за твоей любви неземной. Могла бы и на сторону сходить, кстати, с каким-нибудь середнячком в смысле роста. Ха-ха-ха, опять забей – это я так шучу.

...

Не хочешь – не слушай. Могу вообще не звонить. Раз в кои веки надумала что-то сказать серьезное – ты опять со своими обидами и поучениями.

...

Да все время поучаешь, пилишь, пилишь, как бензопила. Папа тоже, кстати, от тебя научился, вы меня вместе все время пилите. Я и ленивая у вас, и бессердечная – квартиру убирать не люблю, мало помогала за бабушкой ухаживать, когда она парализованная лежала. А ты очень сердечная?

...

А, ну конечно: как не нравится, так «при чем тут я?». Ты ни при чем, да-да-да. Тетя Мотя из третьего подъезда при чем. Это она мне, ну когда я совсем маленькая была, даже сказок не читала, правда ведь? А сбаврила в какие-то ясли на пятидневку – не помню, что там было, зато запомнила на всю жизнь, как мне там все время было страшно, как няньки на нас орали, а я все время плакала, а больше ничего не помню.

...

Не перебивай меня каждую секунду, ладно? Или я пошла. Ну так вот – я с тех пор теток в белых халатах дико боюсь, до дрожи просто, сразу хочется забиться под одеяло и уши заткнуть. И никто мне никогда не читал сказок.

...

Ничего подобного – я бы запомнила, если бы читала.

...

Нет, и папа не читал, и как после этого нормальным человеком вырасти? Вот как можно было меня такую маленькую в какие-то бесконечные ясли отдавать? А теперь ты говоришь – я бессердечная. А в кого я бессердечная? Не знаешь, а?

...

Сейчас трубку повешу. Кончай перебивать. Дай закончить. Мы вообще с тобой слишком похожи, чтобы ты могла мне какие-то предъявы делать. Ну и вообще – чего человека прессовать, если все у него от родителей. И добро, и говно. Про добро не знаю, а говном ты меня наградила от души. У папы я только рост взяла, а у тебя – все остальное.

...

Мам, последний раз прошу – дай сказать. Хорошо, не «говном» – скверными чертами характера. Так норм? Тебе же проще думать, что я ниоткуда взялась такая – бессердечная и ленивая. Вот ты обиделась, что я тебя с Восьмым марта не поздравила в прошлом году. А кстати – на фига оно тебе уперлось, это Восьмое марта, ты ведь феминистка? Но для тебя это почему-то важно. А когда я просила меня поздравлять с Международным днем кошек – ты почему-то сказала, что это не праздник и смешно с ним поздравлять. А у меня ближе наших котов никого никогда и не было. А нет, бабушка еще. Ну тогда и Восьмое марта не праздник и смешно поздравлять. Как ты – так и я. Я ж и говорю, что я вся в тебя. Так что не жалуйся теперь, терпи меня, какая есть.

...

Не знаю. Накопилось, наверное. Про котов вообще обидно было, правда. И про ясли. Это ведь серьезно, ты не отмахивайся.

...

Нет, ну теперь-то уж и правда ничего не поделаешь – только осмысливать и рефлексировать. В смысле тебе – мне-то зачем. Про ясли я всю жизнь помню, но всегда в себе держала, думала, что когда-нибудь вы с папой поймете, что это было жестоко и что я из-за этого такой бессердечной и выросла. Но вы ничего не поняли, вот я и решила напомнить.

...

Нет, больше ничего. Или ты стебешься? Ладно, я тему подкинула – ты теперь думай.

...

Конечно, буду звонить. Завтра сразу после первой пары позвоню – расскажу, как там и чего.

...

Да знаю, знаю. Я тебя тоже люблю. Папе привет и kisses.

...

Ага, пока.



– Томусь, а почему ты ее с Днем кошек-то не захотела поздравлять?

– Да я не то что не захотела – просто она заявила, что пойдет отмечать его в дорогой ресторан с кем-то, денег попросила. Немало, кстати. Я и сказала, что это не тот праздник, на который выкидывают деньги в дорогом ресторане. Она обиделась, сказала, что тоже меня ни с чем поздравлять не будет, что Ляля и Бася – наша семья. Хлопнула дверью. Ну ты ее знаешь, короче.

– Да знаю, конечно. И что за рост на меня обижена – тоже всегда знал. Не говорила никогда, правда, но я знал. Слушай, а что за ясли? Про какие ясли она говорит, не понял?

– Это она себе вбила в голову, что мы ее в раннем детстве отправляли в какие-то ясли, где ей было плохо. А на самом деле она смутно вспоминает детский дом до того, как мы ее забрали. Дура я, что тебя послушала. Давно надо было рассказать, да и вообще – не скрывать с самого начала, как в цивилизованном мире и делают. Ты, кстати, тоже сфотографируй на смартфон ту бумагу об удочерении: чем больше копий – тем лучше...

Люба Гурова. Искусство разговора⁴

Мы знакомы пятьдесят лет.

Жили вместе двадцать.

Тридцать лет говорим по телефону, последние двадцать – каждый день.

Если меня спросят, что я делала 58 мая или 39 ноября любого года после девяностых, я скажу: говорила по телефону с мамой.

Это мало для профессии, основного занятия. Немало – для формирования навыка.

Вот если бы я так же часто и подолгу отжималась от пола или танцевала степ – то сейчас уже могла бы давать уроки? хотя бы в красном уголке при ЖЭКе?

Полчаса, каждый день, двадцать лет.

Таких стойких привычек у меня не так уж много. Иногда я забываю почистить зубы. Почти не пропускаю время пить чай.

И вот – звоню. Столько лет, каждый день.

За это время любой навык может быть доведен до совершенства.

Казалось бы! но нет.

Я звонила по телефону с диском. В аппарате была щель для монеты в одну марку. Одной марки надолго не хватало. Умельцы подвешивали монету на петлю из тонкой лески и не давали ей провалиться. Я не умела.

Звонила по телефону с диском и щелью для пластиковой карты на десять марок.

Звонила по кнопчному телефону в желтой будке. Потом будки стали цвета маджента. У меня появился свой телефонный аппарат, но звонки в Москву стоили дорого. Поговорить полчаса – неделю не обедать.

К концу века появились бумажные карточки с длинными кодовыми номерами. На карточке полоска, полоску стереть – под ней цифры. Цифры ввести перед набором номера. За десять марок – а потом и евро – можно было поговорить пару раз минут по десять. Прогресс.

Тогда же, кажется, московская телефонная станция расщепила Москву на районы с кодом 495 и 499.

Потом появился интернет, в интернете печатали номера для дешевого набора. Бумажные карты стали не нужны, стоимость дешевого звонка добавляли к телефонному счету.

Телефонные аппараты с витым шнуром начали исчезать. Появились беспроводные трубки, с которыми можно было ходить туда-сюда. Из моего окна был вид на берлинскую телебашню и рекламу на слепой стене большого дома. Там очень долго висела реклама самого первого айпода.

Уже разрушился мой первый собственный компьютер, работал первый собственный ноутбук. В нем был интернет, но еще не было скайпа. Разговоры продолжались по телефону.

Мама вышла на пенсию, заметив, что слабеет память. Я потеряла работу и, по-рыбы глотая воздух, старалась отрастить жабры. Мама сказала: «Не пора ли вернуться домой?»

Этот невинный вопрос, показалось мне, зачеркнул, как ошибку, все пятнадцать лет в Берлине. Разговор закончился очень обыденно.

Через полгода я нашла работу в Москве.

Мама бывает права.

⁴ Люба Гурова – переводчик, преподаватель синхронного перевода, журналист, бизнес-консультант. Училась на филологическом факультете МГУ, окончила Свободный университет в Берлине и Высшую школу перевода в Монтерее (США). Публиковалась в русско- и немецкоязычных газетах и журналах. Участник сборников «Казенный дом и другие детские впечатления» («Время», 2019) и «Счастье. Двадцать семь неожиданных признаний» («Время», 2020).

Какое-то количество разговоров кончается ссорой. Предмет ссоры всегда выветривается из памяти. Возможно, размолвок было меньше, когда платили монетой, картой или ПИН-кодом. Трудно ссориться, если разговор обрывается автоматом.

Чем лучше и доступнее телефонная связь – тем богаче узоры перебранок.

Я овладела этим мастерством. Я отточила навык.

Или нет. Я – сапер. Могу проползти по минному полю и не взорваться. Могу взорваться на двадцать седьмой минуте – а вы попробуйте!

Посмотрим на это дело именно так: бывает и такое, что мы не ссоримся – и это, знаете ли, моя работа. Вот за это мне давайте орден и медаль.

Короче, гордиться нечем. Но что знаю, расскажу.

Сначала – правила общей безопасности.

Звони в расцвете сил. Если не в форме – не звони. Не в том дело, что голос должен быть фальшиво бодрым, а в том дело, что если я устала и не держу удар, то какой-нибудь ловкий хук да пропушу и поезд сойдет с рельсов.

Записывайте, проверяйте: не звоните натошак, не звоните, если вы курильщик и не сможете спокойно покурить, не звоните, если болит голова. Не звоните после тяжелого дня, если вы весь день терпеливо отвечали на неприятные вопросы и ни разу не сорвались. Или сорвались, тем более не надо. У вас должны быть пуды терпения, чтобы хватило на двух верблюдов. Тогда звоните. А иначе – деньги на ветер.

Итак, звоним из хорошо проветренного помещения, после еды, выпавшись и погуляв, давление и пульс как у космонавта. Под рукой, наготове: стакан воды или другого благородного напитка. Хорошо бы чем-нибудь занять руки: спиннер, ручной эспандер, небольшая бесшумная в использовании настольная игра. Хорошо иметь карандаш благородного дерева, погрызть между делом вкусный «Кохинор».

Затем – контент-контроль.

Возьмем дела с высокой ставкой и высоким риском. Вы сильно вложились и боитесь потратить. (Пишете оперу! строите амбар! хотите выйти замуж!) Про такие вещи маме не говорите. У мамы радар на все, что может в вашей жизни пойти не так. Радар устроен интересно, мамина карта звездного неба с вашей ни в чем не совпадает, но на маминой карте много страшных зверей. Мама беспокоится. Если у вас все спокойно – мама найдет, о чем беспокоиться. Пусть это будет что-то, о чем вы сами точно не беспокоитесь. Если вы будете беспокоиться вместе, кто будет настолько спокоен, чтобы успокоить маму?

– Кстати, давно хотела спросить.

– Мм? (Я по интонации чувствую, что это будет то же, о чем говорили на прошлой неделе.)

– Вот ты говоришь – у тебя много работы.

– Мм.

– А как у вас сейчас там платят переводчикам?

Вообще, по-всякому; я понимаю, ты хочешь спросить: как с деньгами, вам хватает? Но ты не любишь спрашивать прямо, такая культура, надо с подходцем; тебе, наверное, опять рассказали по телевизору, как Запад загнивает; вообще-то я объясняла про свой бизнес, но ты не помнишь; устройство жизни после 1989-го плохо уложилось в голову, таковы последствия шока; сейчас 2020-й; я долго выстраивала свою схему, она прочная, но тонкая; в любой момент все может рухнуть, и всему конец; зависит от множества вещей, и я боюсь, конечно, постоянно; мне есть чего бояться; но я вырулю – всегда выруливала, это медицинский факт; вот и сейчас я

вижу месяца на два вперед, а дальше черт знает; на эту местность уж нету карты, иду вперед по абрису; это твоя песенка, мама, твои байдарки; но так я говорить не буду; я, мама, в хороший день отвечу так:

– Да нормально платят. Нам хватает. Работа есть. Ты же видишь – я много работаю.

И переведу разговор на музыку и цветы.

В не самый хороший день я скажу:

– А ты в какой связи интересуешься?

(Эх, не то, не то.)

– Ну а что, я не могу спросить? Ни ты, ни твой брат ничего мне не рассказываете. Я тебе уже все свои новости доложила. До мельчайших подробностей! Но от тебя ни слова не добьешься.

Если хватит ума, скажу:

– Да знаешь, все в порядке. Все нормально, нам хватает.

Она тогда еще немножко скатится под горку:

– Ну и что, так трудно? Разве трудно так сразу и сказать?

И я, не уняв сварливости, добавлю:

– Я так и говорю. Нетрудно. Ты спросила – я сказала.

И обе надуемся в досаде. В многолетней рассаде досады.

После такого поворота бывает трудно вывести разговор в нейтральные воды. Ну ничего, прощаемся до завтра.

Не стоит жаловаться на здоровье. Если говорите по скайпу – не шурьтесь и не трите лоб.

– Что ты шуришься?

Глаза устали.

– И давно это у тебя?

Ну как. Бывает.

– Но ты проверяешься?

Конечно. Проверяюсь.

– Ну а когда последний раз?

Ну что, есть чем крыть? А мне как раз есть! Я как раз была недавно! Мне дали новые красивые очки! Мы даже несколько раз уже об этом говорили. Но недавние события укладываются в непредсказуемом порядке; к этому можно привыкнуть.

– Я, мама, была у оптика. Мне дали очки. Очень удобно. Оправа легкая, на нос не давит.

– А, ну ладно. А то мне кто-то говорил, что есть такие специальные, ну как это... Ты знаешь. Японская разработка. Помнишь, я была еще тогда у тебя в Берлине, ты жаловалась, что устают глаза. Такие тренировочные очки.

Я помню, был такой разговор году в девяносто седьмом. Что-то такое продавалось в подземном переходе у метро, и была навязчивая реклама, что можно натренировать глаза против мерцания мониторов. Я все это зачем-то помню, но куда бы нам отсюда отрулить, чтобы никого не обидеть?

В хороший день я говорю:

– Мамуля, у меня хорошие очки. Безопасные. Мониторы теперь стали лучше. Да и вообще, я не так уж устаю.

И мама переключается на то, как была у меня в Берлине и какой там был рядом с домом розарий. Правда был! Это typisch мама: в самом, казалось бы, жутком месте хардкорного Берлина оказался розарий. Без мамы он бы в мое сознание не проник, но он был. Вообще в Берлине много цветов, это очень весоно. Не знаю, что она думала о моей жизни там, но мне кажется, что, кроме цветов, она не находила в моем выборе понятных преимуществ. Я никогда не слы-

шала от нее слов на эту тему; приезжая ко мне в гости, она впадала в особый сорт беспокойства и не получала заметного удовольствия от пребывания в этом малознакомом городе. Впрочем, мы слишком разные люди, и я плохо понимаю ее чувства. Я только ощущаю все вибрации.

Разговор о цветах вообще полезен, он у меня в первой тройке надежных тем. Но и в этом саду есть неверные тропинки, с коих, однако, не свернешь.

Вот я, бывает, запеваю:

– Знаешь, мама, я сегодня гуляла – сирень цветет! И белая, и розовая, и лиловая – а запах!

– Что ты говоришь, неужели? Так рано? У нас еще заморозки!

– Но ведь в Германии всегда теплее. Все раньше месяца на полтора. У нашей соседки, фрау Кампе, огромный куст весь осыпан лиловыми гроздьями. (Это я у мамы училась, но у нее получается лучше. Мамины описания природы – совсем Аксаков. Однако моя задача – держать мысль.)

– Да... это верно... у вас теплее. Никогда не забуду, как приехала к тебе в Берлин в марте. Уезжала из Москвы в метель, а у тебя перед окном – крокусы! Сколько я ни старалась, сколько ни сажала крокусов, таскала с дачи, выпрашивала у соседей – ничего у меня под балконом не выросло. И зачем я только билась столько лет. То ли почва не та. А может, сторона северная.

– Но, мама, ведь у тебя тоже куст сирени. Скоро зацветет!

– Сирени? Наверное... Чего я только не придумывала! Снег сойдет – и ничегошеньки не видно. Вот Лидия Федоровна – такая молодец. Если бы ты видела: такой цветник!

(Я видела, разумеется; люпины, георгины.)

– Но, мама, помнишь, тебе же грамоту давали за благоустройство. И даже, кажется, была в газете заметка. «Наш Северо-Запад».

Мама неуверенно отзывается. Она не помнит. Кусок земли под северным балконом, в самом деле бросовый и несчастный, закиданный отвалами, пропитанный реагентами, все-таки много лет процветал ее заботами. Были времена, когда, не дозвонившись, я знала, что она внизу, в компании привязанной на длинном поводке собаки, возится со своими десятью квадратными метрами ничейной земли или поливает свой цветник с балкона с помощью приделанного к крану в ванной шланга.

Балкон, понятное дело, был также ухожен, унавожен и блистал.

И были грамоты из управы и даже – видела сама – заметка в муниципальной газете.

Эти важные вещи начала нулевых стерлись из памяти, но осталось огорчение, что все труды напрасны... Со временем, я вижу, стирается весь нарратив, вся цепочка причин и обид. Но мысль садовая навсегда связана с идеей несправедливости мироустройства. Раньше это была целая сага, во много колен – от маминого отца, не разрешавшего ей сажать на даче сирень, через невестку, перекопавшую розы на клубнику, к соседке сверху, ревновавшей к успехам палисадника, к ремонтным рабочим, спилившим на ограде балкона железные балясины под цветочные горшки...

Впрочем, стоп. Это уже я. Это я не так давно, позвонив, застала маму в агрегатном состоянии «не брани меня, родная». Был капремонт, все как-то сумели с рабочими договориться, и только мама и ее сосед, ровесник и тоже балконный садовод, не посмели спорить – и остались с голыми железными балконами, без цветов. Она боялась, бедная, что я ее отругаю.

Как я впитала обиды маминой ботанической саги. Ничего, что она забыла все изгибы. Теперь их помню я.

Помню эту дорожку, эту борозду на пластинке, в которой всегда застревает игла.

Но и с этой дорожки мы научились уходить.

– Ну что, – говорю, – давай поплачем о нашей садовой судьбе. «Я садовником родился. Не на шутку рассердился».

Мама улавливает суть. Она смеется.

– Все цветы мне надоели, кроме!
Ах! Что с тобой? Влюблен! В кого?
Ах!

Екатерина Корсунская. Где ж девался тот цветочек, что долину украшал⁵

– Хочется петь, а петь не с кем. Поэтому я пою про себя. Я когда ложусь спать и нужно уснуть, начинаю свой, второй голос тянуть, а первый слышу, чтоб вступить.

Мы с мамой живем в одном городе, но сейчас карантин, мы не видимся и только два-три раза в день говорим по телефону и в Zoom... Маме девяносто два года.

– Всегда оно во мне звучало. Даже не могу тебе это объяснить. Шила, убирала, гладила, бывало, и грядки полю – и пою. Я и здесь-то, в Нью-Йорке, – на кухне готовила или гулять идем – все время голосила. Но ведь у меня мама такая же была. Помню, стоит умывается и поет. Вообще, у нас же мама, папа, Женя, Варя, ты и я, шесть человек, все пели. Да еще папа твой. Да Женины обе девочки и Вера – это десять, тетя Маруся и дядя Геша – двенадцать. Бывало, девятого августа на день рождения отца собирались все, готовили стол там нормальный, садились, и потом только-только по первой, по второй – и понеслась, начали петь, начали плясать. У двухэтажного дома народ высыпал и слушал, целая толпа всегда стояла – знаешь, двухэтажный, как идешь на край деревни, на Волхонку. И пока мы не переставали беситься, всё слушали. А слышно, в вечернем воздухе, знаешь, как слышно. Ой, какой там воздух был в Торбееве, боже мой! Я такого воздуха нигде не пробовала.

⁵ *Екатерина Корсунская*. Мать двадцатипятилетней дочери. Родилась в Москве, окончила факультет журналистики МГУ, в 1980–1990-е годы работала в различных периодических изданиях, пела в Ансамбле народной музыки Дмитрия Покровского. С 1992 года живет в Нью-Йорке и преподаёт русский язык в Нью-Йоркском университете (NYU).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.